

Рефлексия

ЛЕОНИД, вы музыкант не только по образованию, но и по профессии, и вдруг беретесь за литературу...

— Что касается моего музыкального прошлого и настоящего, я получил очень серьезное исполнительское образование, которое меня кормит и дает возможность не заниматься литературной поденщиной, например. Как писатель я абсолютно свободен. Я не связан никакими обязательствами, никто меня не торопит, я не думаю об успехе и реальных выгодах.

— А какое занятие вы считаете основным?

— Не только основное, но единственное занятие для меня — писание. Игра на скрипке — исключительно способ добывания денег. Если бы мне платили те же деньги за книги, которые пишу, или я получал бы ренту, равную моему жалованью, то, конечно, не работал бы.

— На вас влияло то, что написали другие?

— Трудно ответить... Например, прочитав какую-то книгу и поразившись ей, я мог захотеть сделать что-то не хуже. Другое дело, что у меня не получалось и, может быть, сейчас не получается, но замах на некий солнечный образчик был. Самое первое литературное впечатление, после которого мне захотелось писать, было от «Доктора Фаустуса» Томаса Манна. Я его читал лет в 15, было безумно трудно, под конец я даже оставил это занятие, но мне захотелось ему подражать... И потом мой

Леонид Гиршович (р. 1948) — прозаик, профессиональный скрипач. Учился в Московской и Ленинградской консерваториях. Работал в симфоническом оркестре под управлением Юрия Темирканова. В 1973 году эмигрировал в Израиль, служил в армии, работал помощником концертмейстера оркестра Иерусалимского радио. В 1979 году переехал в Германию, работает в оркестре Ганноверской оперы. Публиковался в русскоязычных западных изданиях — «Континент», «Синтаксис», «Эхо», «Время и мы», «Двадцать два» и др. В России вышли роман «Обменные головы» (СПб, 1992 и М., 1995) и эссе «Чародеи со скрипками» («Вестник новой литературы», № 4, 1992). Сейчас в издательстве «Текст» готовится к публикации его роман «Прайс».



оркестр, где и продолжаю сидеть.

— Многие, кто ездил на Запад и встречался с эмигрантами, рассказывают об их скучном существовании в достатке, в основном производящем впечатление трагедии.

— Не нужно забывать, что я израильнин: у меня израильский паспорт, там похоронены мои родители. Я не ощущаю себя живущим в Германии в качестве эмигранта, я чувствую себя человеком, поехавшим куда-то на заработки. Но из Израиля, а не из России. Поэтому о сытом, но тоскливом эмигрантском состо-

ощущение, что человек выговаривается. Мне кажется, это хорошо действует, делает книгу убедительнее. И потом для меня очень важен сюжет. Я считаю его одним из самых сильных выразительных средств и не вижу причины, по которой им надо пренебрегать.

— Хочу вернуться к теме эмиграции. Принято считать, что для писателя она почти абсолютное зло.

— Я знаю писателей, которые в эмиграции не могли писать и замолчали. Могу назвать замечательного писателя Владимира Марамзина, который не написал ни строчки. Есть и другие примеры. Но бывает и другое, когда человек начинает писать в темноте, ослепнув, оглохнув, лишись языка. Он может сосредоточиться, начать думать и писать. Я уверен, если бы я жил в России, то писал бы хуже.

— Существует ли для вас проблема читателя?

— Категорически нет. Подавляющее большинство вещей, которые я написал, не опубликованы. Я даже могу никому не показывать написанное. Первая моя публикация была в Израиле через четыре года после отъезда. Когда я начал печататься, почувствовал, что это чревато некоторой опасностью: я пишу с оглядкой на публикацию, на журнал,

МУЗЫКАНТ-ЛЕНИНГРАДЕЦ

Независимая газ. — 1996. — 7 авг. — с. 7
«Если мне что-то удалось, то благодаря Набокову, а не Томасу Манну», — говорит Леонид Гиршович

антисоветизм сыграл колоссальную роль. Основное состояние, в котором я находился с раннего детства, было лютое неприятие всего вокруг. Это в чем-то и мое несчастье. Ненависть к режиму не могла не превращаться в ненависть к очень многим вещам, которые режим отчасти узурпировал. И эта ненависть меня ослепляла настолько, что я был совершенно безразличен к тому, что называется Россией. Писание было попыткой спрятаться. Я не рисковал тогда потерпеть поражение, потому что никто никогда мне бы не сказал, что мой идеал не имеет отношения к Томасу Манну, что это плохой, корявый Апт, переводивший его, и что это вообще не русский язык. Так учиться писать нельзя. У меня все лежало в столе, а я был горд собой и находился в юношеском восторженном состоянии.

— В общем, отсюда вы уезжали с радостью?

— Не то слово. Я не могу передать чувство, с которым уезжал. Мне казалось, что я воскреаю... Но тут есть одно важное обстоятельство. Я не москвич, я жил в Ленинграде. Культурное существование там с послереволюционных времен, если смотреть глазами москвича, представляет из себя своеобразное некрофильство. Поэтому в Ленинграде был невозможен концептуализм. Я не могу представить появившихся там Рубинштейна, Пригова или Сорокина, это просто немислимо. Ленинград — это постоянное ностальгическое состояние по всему тому, что уже превратилось в руины. С переездом я даже не сменил ностальгию, она как была по моему миру Серебряного века, такой и осталась.

— А почему вы переехали в Германию?

— Видите ли, эмигрируя, я ведь уезжал не в Израиль, я уезжал из Советского Союза. В Израиль я попал постольку, поскольку он был границей, главное было уехать. На самом деле Израиль — это некий остров посреди великого арабского океана, а я умирал по Европе. Оказалось, чтобы попасть в Европу, нужно скопить денег, сесть в самолет и оказаться там в качестве туриста. Для меня это не то. Мне было около тридцати лет, уровень подготовки позволял мне сесть в любой пристойный европейский оркестр. Удобнее всего оркестровым музыкантам в Германии: стабильная, неплохо оплачиваемая работа, музыканты не очень переутомляются, потому что их социальный статус выше, чем в какой-либо другой стране. Я прошел конкурс, сел в немецкий

янии говорить не приходится. Потом многое зависит от устройства человека. Кому-то нужно общение. Я не то чтобы не очень общителен, но мне хватает общения в Израиле, куда я езжу каждый год на полтора-два месяца. Израиль сегодня — это что-то вроде заморского департамента, это Алжир 48-го года. Русская община в Израиле самодостаточна, хотя и можно говорить о некотором ее провинциализме. В свое время русскоязычная газета «Вести» казалась мне вполне приличной, но сейчас я не могу всерьез сравнивать ее, например, с «Сегодня» и «Независимой газетой».

— Вы все время говорите об Израиле, а ведь уже 16 лет живете в Германии.

— А мне о Германии решительно нечего сказать. Я живу в своей квартире, я пишу. С легкой руки какого-то писателя стало модно говорить: я — графоман. Тем не менее могу это повторить. И потом, несмотря на то, что понятие «родина» для меня неактуально, я живу в русском мире. Германия осталась на мифическом уровне переводов Апта, Наталии Ман. Я говорил о потрясении от прочтения Томаса Манна, но не произнес имени Набокова. Я ему стал подражать как безумный, пытался у него научиться чему-то. Если мне что-то удалось, то именно благодаря Набокову, а не Томасу Манну. В 70-м году я прочитал «Лолиту». Один умник из оркестра Мравинского протачил ее контрабандным способом, полагая, что везет порнографическую литературу. Она попала ко мне, дальше вы догадываетесь, что произошло.

— И вы до сих пор не разочаровались в Набокове?

— Я не могу в нем разочароваться. Мне пришлось изживать чисто сознательное желание ему подражать. Я учился у него, потому что больше было не у кого. При этом понимал частичную губительность такого учения. Было ясно, что Набоков через несколько лет дойдет до России, и многие усвоят его высокомерную интонацию. Но Набоков — это не только высокомерная интонация, это и многое другое.

— В вашем романе интонация совсем другая: самоуничижение, смешанное с иронией по отношению и к евреям, и к немцам...

— Заметьте, в «Обменных головах» о русских — ничего худого. У меня есть вещи, которые, слава Богу, здесь не печатались — меня бы шайками закидали. А если говорить об интонации, то я всегда пытаюсь создать иллюзию исповедальной прозы, стараюсь, чтобы у читателя возникло

на вкус редактора, который мне известен. Марамзин мне как-то сказал: перестаньте печататься. Я пять лет не публиковался, и это состояние для меня в чем-то лучше. Подтверждением стала история с опубликованной здесь книгой «Обменные головы», которая писалась с определенной целью. Дело в том, что закончив роман «Прайс», я почувствовал, что в какой-то степени выполнил свое предназначение. Тогда я решил написать книгу, которую можно будет опубликовать в Германии и заработать. Мне казалось, что бойкая книжка с элементами детектива, где присутствует взгляд иностранца на немцев, может заинтересовать. Но меня постигла неудача. Немецкие издательства до сих пор не проявили никакого интереса, более того, роман вызывает раздражение. Я думал, что немцы, как мазохисты, любят, когда их ругают, но они мазохисты по своим определенным правилам. Если их будет ругать еврей, в сердце которого стучит пепел Клааса, — пожалуйста, но если ты касаешься других сторон, это их злит. В результате роман опубликован в России, а не в Германии.

— Вы следите за новой русской литературой?

— Я бы следил, но нет такой возможности. Если газеты я покупаю регулярно, то представление о литературе у меня довольно фрагментарное. Из того, что я прочитал, могу назвать «Норму» Сорокина. Это «Евгений Онегин» наших дней в том смысле, что это энциклопедия советской жизни. «Норма» — безусловный шедевр. Весь московский концептуализм интересен, но я ему враг, несмотря на восхищение многими вещами.

— В вас говорит ленинградец?

— Да. Есть отношения Москвы и Ленинграда, унаследованные еще от отношений Москвы и Петербурга, но отягощенные, как я уже говорил, некрофильским, ностальгическим состоянием Ленинграда. Москва жила, Ленинград умирал. Я, конечно же, на стороне увядающей культуры, а не московской — сильной, здоровой, розовощекой культуры широких проспектов и тусовок. Меня безумно утомили немецкая высокопарность, романтизм, экспрессионизм, а старая Москва была чертовски германофильской. Петербург, при том, что социально это был немецкий город, живший по немецким законам, с немецкими булочными, культурно был ориентирован на Францию и Италию. Там звучали Римский-Корсаков и Мусоргский, которым в значительной степени обязан своим существованием музыкальный французский импрессионизм (я имею в виду Дебюсси и Равеля). А Москва с ее Скрябиным, Рахманиновым, Метнером, с ее немецкими эпигонами для меня тяжеловесна и утомительна. (Во мне заговорил музыкант, в музыке я все-таки профессиональней, чем в писательстве.) Я из тех твердолобых, кто считает Бродского великим поэтом. Понятно, я сразу попадаю в очень скучную компанию, но это не значит, что я не получаю удовольствия от Пригова. Только Елена Шварц значит для меня неизмеримо больше. Во мне говорит мое ленинградско-петербургское детство. Но я и не хочу быть полнокровным человеком, не хочу, чтобы у меня во всю щеку играл румянец.